
Евгений КАМИНСКИЙ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ СО СВЕРНУТЫМ НОСОМ

Рассказ

В конце шестидесятых годов прошлого века в сентябре в Ленинграде и под еще можно было зацепить почти летнюю погоду, но в сентябре всегда нехстати начинался очередной учебный год. И значит, прощай, лето?

Ну, уж нет!

По дороге из школы домой мы с братом-близнецом прямо на колене (на скамье возле подъезда двухэтажки, построенной пленными немцами) делали письменные домашние задания — математику и русский. Почему на скамейке? Хотелось поскорей избавиться от этого груза и заявиться домой уже вольными птицами. Прочие (не-письменные) предметы не устаивались внимания, поскольку очень жаль тратить молодую жизнь на биологию, английский, географию, историю и литературу, когда в реке Ижоре плотва и окунь еще берут на тесто и не на всех полях окрест выкопана вся картошка...

Жизнь в сентябре было принято тогда тратить на футбол, рыбалку, сбор грибов, отчаянное купание в холодной воде и на кровопролитную войну с врагами из соседних домов. Мы даже не обедали как следует: тарелка горохового супа после школы, осьмушка круглого хлеба (который за четырнадцать копеек) в карман, и — пишите письма.

Но обязательное посещение средней школы! Его было не избежать. Никак. А тут еще преподаватель литературы и русского языка, ни на кого на своих уроках не кричавшая женщина, вцепилась в наш класс насмерть: каждый в первых числах сентября был обязан изложить ей на четырех страницах то, как он провел лето.

Свое «Как провел...» я начал писать за обедом (на скамейке у дома такое дело не провернешь!), время от времени бросаясь от стола к окну, чтобы проследить за начавшимся сосредоточением сил неприятеля на подступах к нашему дому.

Тема предполагала хотя бы небольшой анализ событий, их генерализацию и последующее выстраивание в некую жизнеутверждающую (только так!) последовательность. Уже тогда я понимал необходимость жизнеутверждающих выводов любого школьного изложения, иначе четверки за полугодие не видать, и нутром чувствовал опасность, исходящую от всякого пессимистического нытья, вроде эмпириокритицизма Авенариуса, о котором, правда, тогда еще не был слышан. Но о чем писать? Скажем, о том,

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор десяти книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер», «Дружба народов» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.

как начал в пионерском лагере обливаться холодной водой и перестал чихать на все; поступил в кружок балльных танцев и познакомился с отличницей Раей с большими влажными глазами...

Однако на подробное изложение цепочки событий, приведших меня хоть к какому-нибудь положительному результату, не было времени: враг стоял у ворот. И особо не раздумывая, я писал свое сочинение на кухонном столе стоя, перетаптываясь при этом, словно мерин в конюшне, и то и дело бросая беглый взгляд за окно. И настрочил четыре страницы о том, как, выскользнув из-под присмотра пионервожатых, бегу через сосновый, засранный пионерами из окрестных лагерей лес в сельский магазинчик за лимонадом «Буратино», боясь не успеть до его закрытия. (Знать бы мне тогда, что лет через тридцать я буду еще не так мчаться в гастроном, боясь опоздать, да только отнюдь не за бутылкой лимонада с веселыми бульбашками внутри!) Максимально лапидарно, без мало-мальской приличествующей школьному сочинению морали. То, что я описывал факт вопиющего нарушения режима пионерского лагеря, не должно было, на мой взгляд, интересовать училку: ведь та следила за ростом нашего самосознания здесь, в школе, а не там, в лесу.

Но, собственно, о чем тут можно было написать?!

Лишь о том, что запомнил: как перепрыгиваю через багровые торфяные канавы, треща сухостоем, продираюсь сквозь неподатливые, словно проволока, заросли папоротника, обдираю колени о кусты ежевики, распугиваю всякую ползучую нечисть и поднимаю в небо птицу... И ни одного жизнеутверждающего вывода, ни слова вранья. Не сочинение, а песнь каюра!

Написал и тут же забыл, что написал. Даже ошибки не стал проверять, ведь неприятель под моим окном уже наматывал на кулак широкий солдатский ремень...

Через день при разборе сочинений мне достался последний номер. Я думал: хорошо бы четверку, но сойдет и тройка, лишь бы поскорей вырваться из класса на войну.

Но училка, вклеила мне двойку.

За что?

«За то, что списал у Тургенева!»

Вылупив глаза, я побожился (честное пионерское!), что не списывал.

Да и как я мог списать у классика, если ничего, кроме мучительно-жалостливого «Муму» и, конечно же, известных училке «Записок охотника» (там герой хоть и помещик, а все же с ружьем!), еще не читывал?! И потом, списывать у классика — все равно что американскому шпиону ходить по нашим улицам в черных очках. Сразу видно, что — шпион.

На мое искреннее негодование она лишь махнула рукой, мол, знаем вас как облупленных. Обиженный такой незаслуженной клеветой, я опустил на свое место, ища глазами защиты у одноклассников. Те, однако, без всякого сочувствия разглядывали меня, подлеца такого. И я, оклеветанный, начал раздуваться от смертельной обиды, как жаба, еле сдерживая в горле рыдания.

Двойка не так ранила меня, как это обвинение, легшее на мою почти белоснежную репутацию «хорошиста» чернильным пятном.

На следующий день на школьной перемене я вновь приступил к училке с требованием указать мне произведение Ивана Сергеевича, которым я воспользовался для своего сочинения. Та вновь махнула на меня рукой, мол, довольно выкручиваться и корчить из себя поруганную невинность.

Кажется, она была уверена в том, что я списал, и не собиралась перечитывать Ивана Сергеевича в двенадцати томах (не говоря уже о тридцатитомном собрании его сочинений), чтобы предъявить мне доказательства моего преступления.

Шли годы. На выпускном вечере из восьмого в девятый класс я вновь наседаю на нее с тем же вопиющим, настоятельно требующим ответа вопросом. Правда, уже без подступающих к горлу слез обиды и возмущения: «Где списал? В каком томе, я вас спрашиваю?»

«Как же я устала от всех вас!» — возопила она довольно беззлобно, все столь же уверенная в собственной святой правоте.

Правда, годом раньше эта неприятная история повернулась другой гранью и приобрела для меня новый неожиданный смысл.

Годом раньше мне сломали нос на хоккее. Вчистую, со смещением костей. Я лежал в больнице и ждал операцию. Заведующий отделением, хирург Литманович (с его сыном мы потом учились в одной школе) пообещал мне поставить нос на место.

Я верил в Литмановича, как в приход коммунизма (светлых времен, когда, забежав в продовольственный магазин, я смогу даром вынести оттуда круглый ржаной за четырнадцать копеек и двести граммов «Докторской» по два двадцать), ждал операцию и боялся смотреть на себя в зеркало: в зеркале был не я, но мою маму это не смущало, и она приносила мне, как родному, то монпансье, а то зефир в шоколаде — жалела сыночка.

В больничной палате, кроме меня, тихо страдающего собственным несовершенством, лежали сиплые мужики с переломанными носами. Человек семь-восемь. Мужики говорили о своем, преимущественно антиобщественном, глухо матерились и выпивали под одеялом; то и дело чья-нибудь Зойка или Нинка подбрасывала в приоткрытое окно больничной палаты бутылку «белого» — так в те времена труженики именовали и «Столичную», и «Московскую» водку. Я изо всех сил терпел сиплых мужиков, надрывая свою тонкую душу во время их разговоров о жизни и смерти и сгорая от стыда, когда кто-нибудь из них лез ко мне со своими скабрзностями.

(Почему отрок лежал в одной палате со взрослыми — вопрос к Литмановичу. Но, возможно, мой случай был настолько нетипичным для районной лицевой хирургии, что решительный Литманович не рискнул отправить меня в городскую детскую больницу, где какая-нибудь мягкотелая докторша могла угробить мой нос своими белыми ручками. Как я потом убедился, в тот момент мне до зарезу были необходимы железные пальцы Литмановича.)

Вечерами в палате меня спасали радиопостановки. Я попросил *общество* разрешить мне поставить общий радиоприемник к себе на тумбочку, и мужики, пожав плечами, согласились — валяй, если ты, дурак такой, не хочешь учиться у нас жизни.

В палате я впервые услышал радиоспектакль по рассказу Ивана Сергеевича Тургенева. Это были «Три встречи».

О, как вдохновенно какой-то народный артист читал этот текст, едва ли уместный для слуха строителя коммунизма, с подробнейшими описаниями места и действий («Жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь...»)! Как он *придыхал* над текстом, как изливал мелодию любви, едва не захлебываясь от личного отношения к действию, которое там развертывалось.

Я слушал радиопостановку, открыв рот и забыв о свернутом набок носе. Слушал, пусть и не в полной пока мере открывая для себя Ивана Сергеевича.

«Три встречи» были разложены на три радиоэфира. И каждый последующий я ждал с трепетом. Боялся только одного: в разгар тургеневской интриги в палату ворвется громовой Литманович (он действительно был величественно громок, как диктор Левитан) и уведет меня на операцию. И я, болезненно чувствительный в эти минуты ко всякому физическому воздействию, не столько не узнаю, чем там у них, дворян-помещиков, все закончилось, сколько не вкушу уже намечавшейся трагедии, не познаю

полноты любовных терзаний героев, лишусь прежде немислимой для меня, чувственной высоты...

Литманович все же забрал меня из палаты (к счастью, между второй и заключительной частями радиопостановки).

Предварительно связав, он усадил меня на колени угловатой и безжалостной, как Фермерша Пикассо, медсестре, тут же стиснувшей мое тело, как борец вольного стиля, и влез толстеньким своим пальцем в мою ноздрю. Влез и, несмотря на мои повизгивания, вернул мой нос на законное место.

Едва держась на ногах, я заглянул в зеркало и тут наконец признал в заморыше, испуганно глядящем на меня, себя.

Мама, пришедшая ко мне вечером с кулечком сахарного песка к чаю, никаких положительных изменений во мне, кажется, не заметила. Просто спросила, что еще принести...

Теперь я, воспрянувший духом, лежал на койке и ждал третью часть радиоспектакля. И тут на ум мне пришло невиданное, невозможное и возмутительное по своей наглости: если мой текст приписали перу Ивана Сергеевича, то и я, так же как Иван Сергеевич, могу своими сочинениями заставлять простого человека плакать, забыв об ужине.

Ведь посчитала же гордая женщина с высшим филологическим образованием мой текст текстом самого Ивана Сергеевича!

Я прослушал третью часть «Трех встреч» и вскорости покинул больницу.

Громовый Литманович передал меня с рук на руки моей матери. Мать смеялась, Литманович шутил, а я все думал об Иване Сергеевиче, не о Тургеневе, о другом Иване Сергеевиче, способном, однако, писать не хуже первого, которым я очень даже могу оказаться впоследствии.

И это открытие, хотел я этого или не хотел, овладело мной.

Я стал читать Ивана Сергеевича. Сначала потихоньку, принуждая себя. Потом все быстрее. И уже без принуждения.

С какого-то момента я осознал, что Иван Сергеевич на самом деле большой охотник... до любви: в своих произведениях он ищет (выслеживает!) только ее одну. И когда находит ее, она всегда немножечко не та, которую он искал, не такая, которой можно было бы, забыв обо всем, утешиться.

Осознав это, я перешел в другую школу, где одним из главных предметов была уже литература, и девочки ценили мальчиков по свойствам ума последних, а никак не по размерам их кулаков.

Теперь я читал много чего, не всегда, правда, с интересом. И постепенно в книгах меня стало интересовать не столько «что», сколько «как» это «что».

Все писатели писали об одном и том же: о любви или смерти. И слова у них были одни и те же. Но читать одних не хотелось, от других же было не оторваться...

Особенно это «как» интересовало меня у Тургенева. (Он до сих пор был под особым надзором.) А вдруг все же набреду на багровые торфяные канавы, заросли папоротника, кусты ежевики и ползучую нечисть?

И тогда...

Что тогда? Да не было этого, не списывал я с Тургенева.

Чем упорней вчитывался я в Ивана Сергеевича, тем больше понимал: то, изложено на моих четырех страницах, у Ивана Сергеевича нет и быть не может. Что же касается училки и ее обвинений в мой адрес, то, полагаю, столкнувшись с моим текстом, неожиданным для сочинения *весьма средней* средней школы советских времен (без собственных последнему измов), она решила, что дело тут нечисто, поскольку обычный школьник так не должен был. Да и не мог. Значит, списал.

А у какого еще писателя, кроме заядлого охотника и натуралиста Ивана Сергеевича, в хрестоматии для пятых—восьмых классов можно найти столько подробнейших описаний природы?! Вот и предположила это, лежащее на поверхности, а поискать, откуда именно содрал ученик, поленилась.

Но все же что убедило ее в том, что она права и меня как беззастенчивого плагиатора следует ушучить и заклеить, уж если нельзя хорошенько выпороть?

Правда жизни?

Дыхание почвы и судьбы?

Ничего подобного там быть не могло. Что (и главное: как?) может написать человек, ничего о жизни не знающий, себя-то еще не сознающий и уж тем более не умеющий убедительно изобразить?!

Значит, было там что-то другое. Что-то этакое, что филологиня учуяла.

Выходит, был там дух. То есть нечто такое, что не от человека, а через человека и помимо его воли.

Как-то весной в нашу школу приехал поэт Кушнер.

Человек сто старшеклассников согнали в рекреацию, и они, зевая и ковыряя в носу, вежливо слушали поэта. Девочки шуршали записочками, на которых были заготовлены вопросы к поэту. Кушнер читал стихи ясно, со сдержанным вдохновением. Точно так же, как читает до сих пор.

Прочитал он и стихотворение «Два мальчика, два тихих обормотика...», посвященное Битову. Его я еще тогда отметил, хотя не понял, о чем это поэт? Стихи, по-моему, никто из старшеклассников не оценил. К тому ж бойкие девочки вместо того, чтобы смотреть на поэта влюбленными глазами, сразу после выступления Кушнера надели на него с обвинениями в отсутствии гражданственности и еще в каких-то свойственных хорошим поэтам преступлениях.

Поэт отвечал девицам со снисходительной улыбкой и мило пожимал плечами. Он-то знал цену своим стихам. Я смотрел на Кушнера и представлял себе Тургенева, который вот так же отвечает на ядовитые вопросы экзальтированных дамочек...

И не мог представить себя в этой роли. Ниоим образом, ни Боже мой!

До сих пор литература была для меня скорей школьным истязанием, нежели радостью и отдохновением.

Изрядно помучив поэта, школьницы отпустили его на все четыре стороны, и он, очень надеюсь, поехал в Бюро пропаганды за гонораром. Еще бы, претерпеть агрессию старшеклассниц! Нет, читать стихи военным и школьникам — все равно что проповедовать людоедам благовую весть.

Но что-то после этой встречи с поэтом во мне изменилось.

Как-то незаметно для себя, вместо того, чтобы продолжать искать себя в Иване Сергеевиче (свои строки в его томах), я стал искать Ивана Сергеевича в себе.

Мне было уже семнадцать (поздновато, конечно, но на все воля Божья), и я как-то минут за двадцать написал стихотворение о «Золотом кольце России». На многодневной экскурсии по «Золотому кольцу» сам я не был, но мать рассказала мне все ярко и подробно, а я лишь бодро это зарифмовал, как та старая дева, у которой *этого* никогда не было, но которая об *этом* много всего слышала, так что может рассказать вам в подробностях...

Написал, и мне, не любившему поэзии вообще, это стихотворение неожиданно понравилось. Хотя, конечно, это были какие-то пороссячи визги, а не стихи.

Потом я учился в Ленинградском университете специальности, в которой были соединены романтика и физика. И того и другого я тогда жаждал от жизни. И ни от того, ни от другого не в силах был отказаться.

И в эти студенческие пять лет мной было прочитано больше, чем за тридцать пять последующих.

Об Иване Сергеевиче я, конечно, забыл...

Но Иван Сергеевич не забыл обо мне.

Ибо все чаще стал стучаться ко мне, внешнему человеку, изнутри.

И этого Ивана Сергеевича в себе я не знал, куда деть. На тот момент внутри у меня чего-то неизъяснимого, будоражащего кровь, было много больше, нежели я мог вместить и удержать в себе. И оно шло из меня, как кровь горлом.

Иван Сергеевич лютовал. Каждый день стучался и требовал выпустить его на волю...

Шли годы. Частенько я набредал в какой-нибудь книге на словосочетание дар Божий и ждал от автора объяснений. И всякий раз меня уверяли, что это такая (Божья!) искра в человеке. Объяснение, однако, меня не устраивало. Да, тысячу или две подобных искр Бог, без сомнения, когда-то рассыпал среди избранного народа. Хотя, конечно, досталось немного и неизбранным.

Но все же, что это — дар Божий?

Я больше не пью лимонад «Буратино» и потому осмелюсь определить дар Божий как свойство человека испытывать восторг от созерцания мира. И еще — способность видеть мир целым, нераздробленным, а себя — неотторгаемой частью целого, необходимой целому для полноты и завершения картины. От Творца человеку дается именно восторг, который переполняет сердце, бурлит, просится наружу, как пар из котла, и чтобы не умереть под напором радости, человек ищет подходящую форму для его (восторга) выражения.

Однако как выразить то, что неизъяснимо?

Конечно, можно мычать от счастья. Но подобное Творец оставил лишь клиническим идиотам — людям, не ведающим ни зависти, ни злобы, ни страха, ни отчаяния, а знающим одну только любовь и потому совершенным. Всем прочим требуется инструмент. И в выборе его Творец предоставляет человеку полную свободу. Моцарт выбрал скрипку, Рафаэль — краски, а Толстой — Софью Андреевну (полагаю, если б не она, не было бы «Анны Карениной»). Именно такой человек — с инструментом, — собственно, и нужен Творцу в качестве инструмента.

Инструмента, с помощью которого Творец мог бы явить Себя человеку.

Что же из инструментов может быть доступней карандаша и тетради в линейку, когда тебя распирает?!

Написал шестнадцать строк о золотых куполах, о малиновом звоне и еще о чем-то неизъяснимом, чему и названия-то нет, — и живи, как жил.

Только вот беда: утром тебя вновь распирает от восторга, и надо что-то с этим делать. И ты опять берешь тетрадь и карандаш и пишешь шестнадцать строк.

Меня уже распирало от восторга, а достойного инструмента еще не имелось. И тогда я взялся за Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, Заболоцкого... Погружался в них с головой, уходил на их глубину, теряя чувство меры и опасности. Я доверялся этим стихам, отдавался им, и они в конце концов меня проглотили.

Прежнего меня не стало. Но появился я новый — с инструментом.

Это была не волшебная флейта, не скрипка Страдивари, не даже свирель... Но что-то все же было. И через это что-то можно было выдуть неизъяснимое.

Хотя, наверное, Творец хохотал, слушая меня.

Мне теперь кажется, что всякий, получивший дар от Творца, невольно перестает быть вольным в себе, поскольку становится инструментом в Его руках.

И быть художником вовсе не счастье, а участь!

Потому что — вот парадокс! — вольному, свободному художнику уже невозможно перестать быть Его инструментом. Глянешь на иного такого талантливую, даровитого, что уже протерт до дыр, а Творец все впихивает в него *свое, личное*, и тот не то что питает, как устрица, — трещит по швам. И не знает, куда от этого дара деться. И пьет горькую, если, конечно, не бросился вниз с карниза. И сходит с ума, если уже не сошел. Лишь бы перестать быть чьим-то инструментом, лишь бы опять жить по-людски, чувствовать себя человеком...

И понеслось: ни дня без строчки, поскольку каждое утро из тебя лезут слова, и нужно как-то остановиться, чтобы жить нормальной жизнью, но остановиться-то невозможно...

Случались, конечно, простои. Творческие кризисы. И это были вовсе не передышки в гонке, это были маленькие катастрофы, ибо уже невозможно было без строки, хотя бы одной. Я нуждался в ней, как алкоголик в немедленном опьянении. И тогда в топку души, где дотлевали угольки вдохновения, живьем летели Пастернак с Мандельштамом, Заболоцкий с Тарковским и еще много кто летел. Как дрова. И сгорали там дотла, и я оживал, вновь наливался жизнью, как клоп чужой кровью, и шевелил лапами, и горел глазами, как безумец, опасный, как тать в ночи, никому не нужный и потому абсолютно счастливый.

«Спасибо вам — вы хорошо горели!»

Потом в жизни было до зубовного скрежета и романтики, и физики.

Но томик со стихами Заболоцкого всегда лежал в кармане, как наган с последним патроном для себя. И в самый отчаянный, опасный момент, за миг до, его можно было раскрыть — и на заполярном острове, когда пурга срывала твою палатку, и зуб на зуб не попадал от холода, и в Тихом океане, когда тайфун сутками валял траулер с борта на борт, и тело уже трещало по швам, а душа трепетала «Ужель?!», и твои товарищи смотрели волками, и казалось, что все, конец. И ты вцеплялся взглядом в разбегающийся перед глазами «Можжевельный куст» и забывал о холоде и страхе, потому что был уже другим человеком в другом месте, в другом веке, с другими людьми...

Как-то, уже в девяностые, находясь на большом научно-исследовательском судне посреди Балтики, я отправился в библиотеку.

Штормило, на душе было темно, а в желудке скверно.

У двери библиотеки я столкнулся с гидрографом с моей книгой в руках. Это был первый роман, написанный под псевдонимом, выпущенный двухсоттысячным тиражом и потому имевшийся в любой, даже самой провинциальной, библиотеке. Гидрограф этот был человеком неординарным. Например, являясь в кают-компанию на обед первым, он вылавливал половником из кастрюли с супом на своем столе все мясо, рассчитанное на шестерых, и потом, поедая это мясо, сообщал остальным столовавшимся с ним членам команды, что море любит сильных, а сильные любят пожрать. И смеялся, как Бармалей. И все молчали: всем было неудобно быть свидетелями такого вопиющего свинства.

— Ну как читиво? — спросил я, с интересом воззрившись на гидрографа. — Терпимо?

— Как обычно, — смутился гидрограф. — Хочу взять продолжение. А ты сам-то читал *это*?

— Читал. Только у *этого* нет продолжения, — усмехнулся я.

— Да ладно «нет»! У такого читива всегда есть продолжение.

— Нет, там уже все закончилось. Возьми лучше что-нибудь настоящее. Классику.
— Может, «Му-му» Ивана Тургенева? — съехидничал он и, расхохотавшись, пошел искать продолжение.

Едва я вернулся из того рейса, со мной связался мой издатель и предложил незамедлительно садиться за продолжение истории, изложенной мной в романе. Зачем? Потому что так принято. Любое продолжение по инерции будут читать. А это деньги издательству, ну, и тебе, конечно, гонорар.

— Напишешь?

— Нет. Не будет тебе продолжения, — ответил я скорей прожорливому гидрографу, нежели издателю.

— Ну и дурак, — сказал издатель и закрыл и тему, и меня.

Потом было еще много книг у других издателей, и не только под псевдонимом, но под своим именем, а однажды чтение чужих стало судьбой в самом конкретном смысле. Чтение стало работой.

Читать стало тем же самым, что печь пироги или тачать сапоги.

Читать то, что зачастую невыносимо. Читать ради того, чтобы отыскать то, что просто нельзя не прочитать. Что, хотелось бы надеяться, является неотделимой частью художественной литературы, частью, ничего о себе не знающей, возможно, себя не сознающей, но нуждающейся в чьем-то одобрительном отклике, восхищенном возгласе, чтобы продолжать писать, продолжать быть, а не исчезнуть от неприкаянности.

Обязанности литературного редактора, помимо собственно редакции текста, первооткрывательство и собирательство. И все ради того, чтобы та цветочная поляна, которой является литература, была представлена читателю вся, до последнего хилого цветочка, без которого она — неполная, незавершенная, несовершенная.

Дело благородное, но очень уж неблагоприятное.

Во всех смыслах.

Редактор, словно старатель, зачерпнувший лотком грязный песок, всегда надеется намыть самородок. Не самородок, так хотя бы золотую песчинку. И потому всю свою жизнь, горя глазами, ковыряется в грязном песке.

А вдруг намоет в этой грязи какого-нибудь Ивана Сергеевича со свернутым носом?